Цинковые мальчики

Автор:
Светлана Алексиевич

Цинковые мальчики

Светлана Александровна Алексиевич

Голоса Утопии #3

«Цинковые мальчики» – третья книга цикла «Голоса Утопии» от автора, получившего в 2015 году Нобелевскую премию по литературе «за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». Без этой книги, давно ставшей мировым бестселлером, уже невозможно представить себе ни историю афганской войны, ненужной и неправедной, ни историю последних лет советской власти, окончательно подорванной этой войной. Неизбывно горе матерей «цинковых мальчиков», понятно их желание знать правду о том, как и за что воевали и погибали в Афганистане их сыновья. Но узнав эту правду, многие из них ужаснулись и отказались от нее. Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» – самым настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями и «группами поддержки» во власти и в прессе. Материалы этого позорного процесса также включены в новую редакцию «Цинковых мальчиков».

Светлана Алексиевич

Цинковые мальчики

© Светлана Алексиевич, 2013

© «Время», 2013

Двадцатого января тысяча восемьсот первого года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Вскоре тридцать тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в Казахские степи…

В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. М.: Мысль, 1988, с. 475

В декабре 1979 г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Война продолжалась с 1979 по 1989 г. Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ограниченного контингента советских войск. Общие людские потери Советских Вооруженных сил составили 15051 человек. Пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих. По состоянию на 2000 г. в числе не вернувшихся из плена и не разысканных оставалось 287 человек…

Полит. ру, 19 ноября 2003

Пролог

– Я иду одна… Теперь мне долго предстоит идти одной…

Он убил человека… Мой сын… Кухонным топориком, я им мясо разделывала. Вернулся с войны и тут убил… Принес и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила… Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп… По кускам… Звонит мне подруга:

– Читала? Профессиональное убийство… Афганский почерк…

Сын был дома, лежал на диване, книжку читал. Я еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него… Материнское сердце…

Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинаю об этом рассказывать, слышу собачий лай. Как собаки бегут… Там в тюрьме, где он сейчас сидит, большие черные овчарки… И люди все в черном, только в черном… Вернусь в Минск, иду по улице, мимо хлебного магазина, детского садика, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай. Оглушающий лай. Я от него слепну… Один раз чуть под машину не попала…

Я готова ходить к могильному холмику своего сына… Готова рядом там с ним лежать… Но я не знаю… Я не знаю, как с этим мне жить… Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал… Вы не слышите? Ничего не слышите… Нет?!

Сейчас я не знаю, какой он, мой сын. Какого я его получу через пятнадцать лет? Ему пятнадцать лет строгого режима дали… Как я его воспитывала? Он увлекался бальными танцами… Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили. Книжки вместе читали… (Плачет.) Это Афганистан отнял у меня сына…

…Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолет такой-то… Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: «Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!» – И потеряла сознание. В аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зеленая. Не верил, что вернулся… Но радости у него на лице не было…

Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил ее к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали. И он… Это я потом поняла.

На границе таможенники «срезали» у него плавки импортные. Американские. Не положено… Так что он приехал без белья. Вез для меня халат, мне в тот год исполнилось сорок лет, халат у него забрали. Вез бабушке платок – тоже забрали. Он приехал только с цветами. С гладиолусами. Но радости у него на лице не было.

Утром встает еще нормальный: «Мамка! Мамка!» К вечеру лицо темнеет, глаза тяжелые… Не опишу вам… Сначала не пил ни капли… Сидит и в стенку смотрит. Сорвется с дивана, за куртку…

Стану в дверях:

– Ты куда, Валюшка?

Он на меня глянет, как в пространство. Пошел.

Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну ладно голоса друзей не узнает, но мой! Тем более «Валюшка» – только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стала примерять, смотрю: у него руки в порезах.

– Что это?

– Мелочь, мамка.

Потом уже узнала. После суда… В «учебке» вскрывал себе вены… На показательном учении он был радист, и не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета пятьдесят ведер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание. В госпитале поставили диагноз: легкое нервное потрясение. Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены. Второй раз в Афганистане… Перед тем, как им идти в рейд, проверили: рация не работала. Пропали дефицитные детали, кто-то из своих стащил… Кто? Командир обвинил его в трусости, как будто это он детали спрятал, чтобы не идти вместе со всеми. А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики… Наркотики, сигареты. Еду. Они вечно ходили голодные.

По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели.

– Мама, – спросил он меня, – а ты знаешь, что такое наркотики?

– Нет, – сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не покуривает ли?

Никаких следов. Но там они наркотики употребляли – это я знаю.

– Как там в Афганистане? – спросила однажды.

– Молчи, мамка!

Когда он уходил из дому, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит. Мне вернули другого человека… Это был не мой сын. А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка. Я хотела, чтобы он стал мужественным. Убеждала его и себя, что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой, устроила на прощание сладкий стол. Он друзей своих позвал, девочек… Помню, десять тортов купила.

Один только раз он заговорил об Афганистане. Под вечер… Заходит на кухню, я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее. Разглядывает. И сам себе говорит:

– Привозят друга с перебитым животом… Он просит, чтобы я его пристрелил… И я его пристрелил…

Пальцы в крови… От кроличьего мяса, оно свежее… Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон. Больше со мной в этот вечер ни слова.

Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите! Все рассказала… Проверяли они его, смотрели, но кроме радикулита у него ничего не нашли.

Прихожу раз домой: за столом – четверо незнакомых ребят.

– Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашел. Им ночевать негде.

– Я вам сладкий пирог сейчас испеку. Мигом. – Почему-то обрадовалась я.

Они жили у нас неделю. Не считала, но думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома пятерых незнакомых людей. Пятым был мой сын… Я не

хотела слушать их разговоры, пугалась. Но в одном же доме… Нечаянно подслушала… Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее. Но это все в тайне хранится. Каким оружием лучше убивать… С какого расстояния… Потом я это вспомнила, когда всё случилось… Я потом стала думать, лихорадочно вспоминать. А до того был только страх: «Ой, – говорила я себе, – они все какие-то сумасшедшие. Все ненормальные».

Ночью… Перед тем днем… Когда он убил… Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет. И вот его мне приводят… Приводят те четыре «афганца». И бросают на грязный цементный пол. Вы понимаете, в доме цементный пол… У нас на кухне… Пол – как в тюрьме.

К этому времени он уже поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливый был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается. Пойдет учиться. Женится. Но наступит вечер… Я боялась вечера… Он сидит и тупо в стенку смотрит. Заснет в кресле… Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать. А теперь мне снится сын: он маленький и просит кушать… Он все время голодный. Руки тянет… Всегда во сне вижу его маленьким и униженным. А в жизни?! Раз в два месяца – свидание. Четыре часа разговора через стекло…

В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить. И этот лай собак… Мне снится этот лай собак. Он гонит меня отовсюду.

За мной стал ухаживать один мужчина… Цветы принес… Когда он принес мне цветы: «Отойдите от меня, – стала кричать, – я мать убийцы». Первое время я боялась кого-нибудь из знакомых встретить, в ванной закроюсь и жду, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: «Помните, тот жуткий случай… Это ее сын убил. Четвертовал человека. Афганский почерк…». Я выходила на улицу только ночью, всех ночных птиц изучила. Узнавала по голосам.

Шло следствие… Шло несколько месяцев… Он молчал. Я поехала в Москву в военный госпиталь Бурденко. Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он. Открылась им…

– Ребята, за что мой сын мог убить человека?

– Значит, было за что.

Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать… Убить… Долго их выспрашивала и поняла: мог! Спрашивала о смерти… Нет, не о смерти, а об убийстве. Но этот разговор не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие любое убийство обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили о войне как о работе, на которой надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане, и когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало, я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти? Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Разорванные… расплющенные… черепа, кости… Похороненные под землей целые школы… Классы… Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю. А они вспоминали и рассказывали о другом; какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили. Шутили: пусть бы еще где-нибудь тряхануло. Но чтобы в теплом месте, где виноград растет и делают хорошее вино… Они что – здоровые? У них нормальная психика?

«Я его мертвого ненавижу». Это он мне недавно написал. Через пять лет… Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот парень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал…

На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых – не преступник, а больной. Его надо лечить. Но тогда, это семь лет назад, тогда правды об Афганистане еще не было. Их всех называли героями. Воинами-интернационалистами. А мой сын был убийца… Потому что он сделал здесь то, что они делали там. За что им там медали и ордена давали… Почему же его одного судили? Не судили тех, кто его туда послал? Научил убивать! Я его этому не учила… (Срывается и кричит.)

Он убил человека моим кухонным топориком… А утром принес и положил его в шкафчик. Как обыкновенную ложку или вилку…

Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног… Пусть он ее ненавидит, когда напьется. Весь мир ненавидит… Пусть бросается на нее, как зверь. Она покупает ему проституток, чтобы он не сошел с ума… Сама один раз ему любовницей стала, потому что он лез на балкон, хотел выброситься с десятого этажа. Я на все согласна… Я всем матерям завидую, даже тем, у кого

сыновья в могилах лежат. Я сидела бы возле холмика и была счастлива. Носила бы цветы.

Вы слышите лай собак? Они за мной бегут. Я их слышу…

Мать

Из записных книжек (на войне)

Июнь 1986 года

Я не хочу больше писать о войне… Опять жить среди «философии исчезновения» вместо «философии жизни». Собирать бесконечный опыт не-бытия. Когда закончила «У войны не женское лицо», долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь, убегала на отдыхе от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из далеких глубин рыбу, меня тошнило от ее застывших выпученных глаз. У каждого есть свой запас сил, чтобы защититься от боли – физический и психологический, мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка. Высохшей на дороге лягушки… Думалось не раз, что животные, птицы, рыбы тоже имеют право на свою историю страдания. Ее когда-нибудь напишут.

И вдруг! Если это можно назвать «вдруг». Идет седьмой год войны… Но мы ничего о ней не знаем, кроме героических телерепортажей. Время от времени нас заставляют встрепенуться привезенные издалека цинковые гробы, не вмещающиеся в пенальные размеры «хрущевок». Отгремят скорбные салюты – и снова тишина. Наша мифологическая ментальность незыблема – мы справедливые и великие. И всегда правы. Горят-догорают последние отблески идей мировой революции… Никто не замечает, что пожар уже дома. Загорелся собственный дом. Началась горбачевская перестройка. Рвемся навстречу новой жизни. Что нас самих ждет впереди? На что окажемся способны после стольких

лет искусственного летаргического сна? А наши мальчики где-то далеко неизвестно за что погибают…

О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге и геополитике, о наших державных интересах и южных границах. И этому верят. Верят! Матери, еще недавно в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, в которых им вернули сыновей, выступают в школах и военных музеях, призывая других мальчиков «выполнить свой долг перед Родиной». Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас уверяют, что «ограниченный контингент» советских войск помогает братскому народу строить мосты, дороги, школы, развозить удобрения и муку по кишлакам, а советские врачи принимают роды у афганских женщин. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать.

С одним долго говорила… Я хотела услышать о мучительности этого выбора – стрелять или не стрелять? А для него тут как бы – никакой драмы. Что хорошо? Что плохо? Хорошо «во имя социализма» убить? Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом. Правда, о смерти они говорят осторожнее, чем мы. Тут сразу обнаруживается расстояние между нами.

Как одновременно переживать историю и писать о ней? И нельзя любой кусок жизни, всю экзистенциальную «грязь» взять за шиворот и втащить в книгу. В историю. Надо «проломить время» и «уловить дух».

«У существующей печали сто отражений» (В. Шекспир. Ричард III).

…На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом, рядом с ним худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулевку, копал вилкой в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсели к ним деревенские женщины, выспросили: куда, зачем, кто? Офицер сопровождал домой солдата, сошедшего с ума: «С Кабула копает, что попадет в руки, тем и копает: лопатой, вилкой, палкой, авторучкой». Мальчишка поднял голову: «Прятаться надо… Я вырою щель… У меня быстро получается. Мы называли их братскими могилами. Большую щель для всех вас выкопаю…»

Первый раз я увидела зрачки величиной с глаз…

Я стою на городском кладбище… Вокруг сотни людей. В центре – девять гробов, обшитых красным ситцем. Выступают военные. Взял слово генерал… Женщины в черном плачут. Люди молчат. Только маленькая девочка с косичками захлебывается над гробом: «Папа! Па-а-почка!! Где ты? Ты обещал мне куклу привезти. Красивую куклу! Я нарисовала тебе целый альбом домиков и цветочков… Я тебя жду…». Девочку подхватывает на руки молодой офицер и уносит к черной «Волге». Но мы еще долго слышим: «Папа! Па-а-а-почка… Любимый па-а-почка…»

Генерал выступает… Женщины в черном плачут. Мы молчим. Почему мы молчим?

Я не хочу молчать… И не могу больше писать о войне.

Сентябрь 1988 года

5 сентября

Ташкент. В аэропорту душно, пахнет дынями, не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Бесстрашно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят, афганские. Среди загоревшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты (мальчишки). На них никто не обращает внимания, уже привыкли. Они спят и едят тут же на полу, на старых газетах и журналах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Киев… Где их искалечили? Что они там защищали? Никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз, и пьяная нищенка подошла к одному солдатику:

– Поди сюда… Пожалею…

Он отмахнулся костылем. А она, не обидевшись, добавила еще что-то печальное и женское.

Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы. О брюшном тифе, холере, малярии и гепатите. Как в первые годы войны не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было даже мыть посуду. А еще о том, кто

что привез: кто – «видик», кто магнитофон – «Шарп» или «Сони». Запомнилось, какими глазами они смотрели на красивых, отдохнувших женщин в открытых платьях…

Долго ждем военный самолет на Кабул. Говорят, что сначала загрузят технику, а потом людей. Ждет человек сто. Все – военные. Неожиданно много женщин.

Отрывки из разговоров:

– Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Последствие контузии в голову… Овсяницу, например, не слышу начисто. Записал ее на магнитофон и запускаю на полную мощность…

– Сначала стреляешь, а потом выясняешь, кто это – женщина или ребенок? У каждого свой кошмар…

– Ослик во время обстрела ложится, кончится обстрел – вскакивает.

– Кто мы в Союзе? Проститутки? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать. А мужики? Что мужики? Все пьют.

– Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался: «Возьмите им леденцов. Это же дети. Лучший подарок – конфеты».

– Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу: заплакал. Лицо как у девочки – румяное, белое. Я сначала боялась мертвых, особенно если без ног или без рук. А потом привыкла…

– Берут в плен. Отрезают конечности и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют, наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их насильно лечат. А они после госпиталя не хотят возвращаться домой.

– На таможне увидели мой пустой саквояж: «Что везешь?» – «Ничего». – «Ничего?» Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут по два-три чемодана.

В самолете мне досталось место возле привязанного цепями бронетранспортера. К счастью, майор возле меня оказался трезвым, все остальные вокруг были пьяны. Неподалеку кто-то спал на бюсте Маркса (портреты и бюсты социалистических вождей навалили без упаковок), везли не только оружие, но и набор всего необходимого для советских ритуалов. Лежали красные флаги, красные ленточки…

Вой сирены…

– Вставайте. А то проспите царство небесное. – Это уже над Кабулом.

Идем на посадку.

… Гул орудий. Патрули с автоматами и в бронежилетах требуют пропуска.

Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне. Всюду люди войны, вещи войны. Время войны.

12 сентября

Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в столовую, поздоровались с часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика…

Журналистов здесь называют сказочниками. Писателей тоже. В нашей писательской группе одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю у одного:

– Зачем?

– Мне это интересно. Скажу: на Саланге был. Постреляю.

Не могу отделаться от чувства, что война – порождение мужской природы, во многом для меня непостижимое. Но будничность войны грандиозна. У Аполлинера: «Ах, как красива война».

На войне все другое: и ты, и природа, и твои мысли. Тут я поняла, что человеческая мысль может быть очень жестока.

Спрашиваю и слушаю везде: в солдатской казарме, столовой, на футбольном поле, вечером на танцах – неожиданные тут атрибуты мирной жизни:

– Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: «Первый». После боя – раненые и убитые. Все молчат… Мне снятся здесь трамваи. Как я на трамвае еду домой… Любимое воспоминание: мама печет пироги. В доме пахнет сладким тестом…

– Дружишь с хорошим парнем… А потом видишь, как его кишки на камнях висят. Начинаешь мстить.

– Ждем караван. В засаде два-три дня. Лежим в горячем песке, ходим под себя. К концу третьего дня сатанеешь. И с такой ненавистью выпускаешь первую очередь. После стрельбы, когда все кончилось, обнаружили: караван шел с бананами и джемом. На всю жизнь сладкого наелись…

– Взяли в плен «духов»… Допытываемся: «Где военные склады?» Молчат. Подняли двоих на вертолетах: «Где? Покажи». Молчат. Сбросили одного на скалы…

– Заниматься любовью на войне и после войны – это не одно и то же… На войне все как в первый раз …

– «Град» стреляет… Мины летят… А над всем этим стоит: жить! жить! жить! Но ты ничего не знаешь и не хочешь знать о страданиях другой стороны. Жить – и все. Жить!

Написать (рассказать) о самом себе всю правду есть, по замечанию Пушкина, невозможность физическая.

На войне человека спасает то, что сознание отвлекается, рассеивается. Но смерть вокруг нелепая, случайная. Без высших смыслов.

…На танке красной краской: «Отомстим за Малкина».

Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребенком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери.

Проезжали мимо убитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мертвая глина недавнего человеческого жилища была страшнее темноты, из которой могли выстрелить.

В госпитале я положила плюшевого мишку на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь, обеих рук у него не было. «Твои русские стреляли, – перевели мне слова его матери. – А у тебя есть дети? Кто? Мальчик или девочка?» Я так и не поняла, чего больше в ее словах – ужаса или прощения?

Рассказывают о жестокости, с которой моджахеды расправляются с нашими пленными. Похоже на средневековье. Здесь и в самом деле другое время, календари показывают четырнадцатый век.

У Лермонтова, в «Герое нашего времени» Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав», – хотя с точки зрения русского поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную русскую черту – умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и «по-ихнему».

А сейчас…

17 сентября

Изо дня в день вижу, как человек скользит вниз. И редко – вверх.

У Достоевского Иван Карамазов замечает: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».

Да, я подозреваю: мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом знать. Но на любой войне, кто бы ее и во имя чего ни вел – Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, – люди убивают друг друга. Это убийство, но об этом у нас не принято задумываться, даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о

военно-патриотическом воспитании. Хотя почему я удивляюсь? Все понятно – военный социализм, военная страна, военное мышление.

Нельзя так испытывать человека. Человек не выдерживает таких испытаний. В медицине это называется «острым опытом». Опытом на живом.

Вечером в солдатском общежитии напротив гостиницы включили магнитофон. Я тоже слушала «афганские» песни. Детские, еще не сформировавшиеся голоса хрипели под Высоцкого: «Солнце упало в кишлак, как огромная бомба», «Мне не надо славы. Нам бы жить – и вся награда», «Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают?», «Вот уже и лица стал я забывать», «Афганистан, ты больше, чем наш долг. Ты – наше мирозданье», «Как большие птицы, скачут одноногие у моря», «Мертвый, он уже ничей. Нет уже ненависти на его лице».

Ночью мне снился сон: наши солдаты уезжают в Союз, я – среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке, он без языка, немой. После плена. Из-под солдатского кителя торчит госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только свое имя пишет: «Ванечка… Ванечка…». Так ясно различаю его имя – Ванечка… Лицом похож на паренька, с которым днем беседовала, он все повторял: «Меня мама дома ждет».

Проезжали по замершим улочкам Кабула, мимо знакомых плакатов в центре города: «Светлое будущее – коммунизм», «Кабул – город мира», «Народ и партия едины». Наши плакаты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой…

Познакомилась с кинооператорами из Москвы.

Они снимали загрузку «черного тюльпана». Не поднимая глаз, рассказывают, что мертвых одевают в старую военную форму сороковых годов, еще с галифе, иногда кладут, не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди… «В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет».

Кто мне поверит, если я об этом напишу?

20 сентября

Видела бой…

Три солдата убиты… Вечером все ужинали, о бое и о мертвых не вспоминали, хотя они лежали где-то рядом.

Право человека не убивать. Не учиться убивать. Оно ни в одной конституции не записано.

Война – мир, а не событие… Все здесь другое: и пейзаж, и человек, и слова. Запоминается театральная часть войны: разворачивается танк, звучат команды… Светящиеся пути пуль в темноте…

Думать о смерти – как думать о будущем. Что-то происходит со временем, когда думаешь о смерти и видишь ее. Рядом со страхом смерти – притягательность смерти…

Ничего не надо придумывать. Отрывки великих книг всюду. В каждом.

В рассказах (нередко!) поражает агрессивная наивность наших мальчиков. Недавних советских десятиклассников. А я хочу от них добиться диалога человека с человеком в себе.

А все-таки? На каком языке мы говорим сами с собой, с другими? Мне нравится язык разговорной речи, он ничем не обременен, выпущен на волю. Все гуляет и празднует: синтаксис, интонация, акценты, и – восстанавливается в точности чувство. Я слежу за чувством, а не за событием. Как развивались наши чувства, а не события. Может быть, то что я делаю, похоже на работу историка, но я историк бесследного. Что происходит с большими событиями? Они перекочевывают в историю, а вот маленькие, но главные для маленького человека, исчезают бесследно. Сегодня один мальчик (из-за своей хрупкости и болезненного вида мало похожий на солдата) рассказывал, как непривычно и в то же время азартно убивать вместе. И как страшно расстреливать.

Разве это останется в истории? С отчаянием занимаюсь (от книги к книге) одной и той же работой – уменьшаю историю до человека.

Думала о невозможности писать книгу о войне на войне. Мешают жалость, ненависть, физическая боль, дружба… И письмо из дома, после которого так хочется жить… Рассказывают, что когда убивают, стараются не смотреть в глаза даже верблюду. Тут атеистов нет. И все суеверны.

Меня упрекают (особенно офицеры, солдаты реже), что я, мол, сама не стреляла и меня не брали на мушку – как же я могу написать о войне? А, может, это и хорошо, что я не стреляла?

Где тот человек, которому сама мысль о войне приносит страдание? Я его не нахожу. Но вчера возле штаба лежала мертвая незнакомая птица. И странно… Военные подходили к ней, пытались угадать – кто это? Жалели.

Есть какое-то вдохновение на мертвых лицах… Никак не могу привыкнуть и к безумию обыкновенного на войне – вода, сигареты, хлеб… Особенно когда мы уходим из гарнизона и поднимаемся в горы. Там человек один на один с природой и случаем. Пролетит пуля мимо или не пролетит? Кто выстрелит первым – ты или он? Там начинаешь видеть человека из природы, а не из общества.

А в Союзе по телевизору показывают, как сажают аллеи дружбы, которых никто из нас здесь не встречал и не сажал…

Достоевский в «Бесах»: «Убеждение и человек – это, кажется, две вещи во многом различные… Все виноваты… если бы в этом все убедились!». И у него же такая мысль, что человечество знает о себе больше, гораздо больше, чем оно успело зафиксировать в литературе, в науке. Он говорил, что это мысль не его, а Вл. Соловьева.

Если бы я не читала Достоевского, я была бы в большем отчаянии…

21 сентября

Где-то далеко работает установка «Град». Жутко даже на расстоянии.

После великих войн XX века и массовых смертей, чтобы писать о современных (маленьких) войнах, таких как афганская, нужны другие этические и метафизические позиции. Должно быть востребовано маленькое, личное и отдельное. Один человек. Для кого-то единственный. Не как государство относится к нему, а кто он для матери, для жены. Для ребенка. Как нам вернуть себе нормальное зрение?

Мне интересно и тело, человеческое тело, как связь между природой и историей, между животным и речью. Все физические подробности важны: как меняется кровь на солнце, человек перед уходом… Жизнь немыслимо художественна сама по себе, и, как это ни жестоко звучит – особенно художественно человеческое страдание. Темная сторона искусства. Вот вчера я видела, как собирали по кусочкам ребят, подорвавшихся на противотанковой мине. Могла не пойти смотреть, но пошла, чтобы написать. Теперь пишу…

А все-таки: надо ли было идти? Я слышала, как офицеры посмеивались за моей спиной: испугается, мол, барышня. Я пошла и ничего героического в этом не было, потому что я там упала в обморок. То ли от жары, то ли от потрясения. Хочу быть честной.

23 сентября

Поднялась на вертолете… Сверху увидела сотни заготовленных впрок цинковых гробов, красиво и страшно блестевших на солнце…

Столкнешься с чем-нибудь подобным и сразу мысль: литература задыхается в своих границах… Копированием и фактом можно выразить только видимое глазом, а кому нужен тщательный отчет о происходящем? Нужно что-то другое… Запечатленные мгновения, вырванные из жизни…

25 сентября

Я вернусь отсюда свободным человекам… Я не была им, пока не увидела то, что мы делаем здесь. Было страшно и одиноко. Вернусь и не пойду больше ни в один военный музей…

* * *

Не называю в книге подлинных имен. Одни просили о тайне исповеди, другие сами хотят забыть обо всем. Забыть о том, о чем писал Толстой – что «человек текучий». В нем есть все.

А в дневнике я сохранила фамилии. Может, когда-нибудь мои герои захотят, чтобы их узнали:

Сергей Амирханян, капитан; Владимир Агапов, старший лейтенант, начальник расчета; Татьяна Белозерских, служащая; Виктория Владимировна Барташевич, мать погибшего рядового Юрия Барташевича; Дмитрий Бабкин, рядовой, оператор-наводчик; Сайя Емельяновна Бабук, мать погибшей медсестры Светланы Бабук; Мария Терентьевна Бобкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова; Олимпиада Романовна Баукова, мать погибшего рядового Александра Баукова; Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша; Виктория Семеновна Валович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Валовича; Татьяна Гайсенко, медсестра; Вадим Глушков, старший лейтенант, переводчик; Геннадий Губанов, капитан, летчик; Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Галовнева; Анатолий Деветьяров, майор, пропагандист артполка; Денис Л., рядовой гранатометчик; Тамара Довнар, жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнара; Екатерина Никитична Платицына, мать погибшего майора Александра Платицина, Владимир Ероховец, рядовой гранатометчик; Софья Григорьевна Журавлева, мать погибшего рядового Александра Журавлева; Наталья Жестовская, медсестра; Мария Онуфриевна Зильфигарова, мать погибшего рядового Олега Зильфигарова; Вадим Иванов, старший лейтенант, командир саперного взвода; Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко; Евгений Красник, рядовой, мотострелок; Константин М., военный советник; Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты; Александр Костаков, рядовой, связист; Александр Кувшинников, старший лейтенант, командир минометного взвода; Надежда Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова; Марина Киселева, служащая; Тарас Кецмур, рядовой; Петр Курбанов, майор, командир горнострелковой роты; Василий Кубик, прапорщик; Олег Лелюшенко, рядовой, гранатометчик; Александр Лелетко, рядовой; Сергей Лоскутов, военный хирург; Валерий Лисиченок, сержант связист; Александр Лавров, рядовой; Вера Лысенко, служащая; Артур Метлицкий, рядовой, разведчик; Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона, и его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант; Лидия Ефимовна

Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича; Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого; Владимир Михолап, рядовой, минометчик; Максим Медведев, рядовой авианаводчик; Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолетов; Олег Л., вертолетчик; Наталья Орлова, служащая; Галина Павлова, медсестра; Владимир Панкратов, рядовой, разведчик; Виталий Руженцев, рядовой, водитель; Сергей Русак, рядовой, танкист; Михаил Сиротин, старший лейтенант, летчик; Александр Сухоруков, старший лейтенант, командир горнострелкового взвода; Тимофей Смирнов, сержант артиллерист; Валентина Кирилловна Санько, мать погибшего рядового Валентина Санько; Нина Ивановна Сидельникова, мать; Владимир Симанин, подполковник; Томас М., сержант, командир взвода пехоты; Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко; Вадим Трубин, сержант, боец спецназа; Владимир Уланов, капитан; Тамара Фадеева, врач-бактериолог; Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика; Анна Хакас, служащая; Валерий Худяков, майор; Валентина Яковлева, прапорщик, начальник секретной части…

День первый

«Ибо многие придут под именем Моим…»

Утром длинный, как автоматная очередь, звонок:

– Послушай, – начал он, не представившись, – читал твой пасквиль, если еще хоть строчку напечатаешь…

– Кто вы?

– Один из тех, о ком ты пишешь. Нас еще позовут, нам еще дадут в руки оружие, чтобы мы навели порядок. Придется вам ответить за все. Только печатайте побольше своих фамилий и не скрывайтесь за псевдонимами. Ненавижу пацифистов! Ты поднималась с полной выкладкой в горы, шла на бэтээре, когда пятьдесят градусов выше нуля? Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слышишь… Нет… Значит, не трогай! Это наше! Зачем тебе? Ты – баба, детей рожай!

– Почему не назовешь себя?

– Не трогай! Лучшего друга, он мне братом был, в целлофановом мешке с рейда принес… Отдельно голова, отдельно руки, ноги… Сдернутая кожа, как с кабана… Разделанная туша… А он на скрипке играл, стихи сочинял. Вот он бы написал, а не ты… Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она на кладбище спала, на его могиле. Зимой спала на снегу. Ты! Ты… Не трогай это! Мы были солдатами, нас туда послали. Мы выполняли приказ. Я дал военную присягу. Знамя на коленях целовал.

– «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим». Новый завет. Евангелие от Матфея.

– Умники! Через десять лет все стали умниками. Хотите чистенькими остаться? А мы, значит, черненькие… Ты даже не знаешь, как пуля летит. Автомат в руках не держала… Плевать мне на ваши Новые заветы! Я свою правду в целлофановом мешке нес… Отдельно голова, отдельно руки… Другой правды нет… – И гудок в трубке, похожий на далекий взрыв.

Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой…

Автор

* * *

– Ко мне пробивались только голоса… Как я ни напрягался, голоса были без лиц. Они то уходили, то возвращались. Кажется, успел подумать: «Умираю». И открыл глаза…

Я пришел в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Когда приходишь в сознание, чувствуешь себя мерзко, кажется, что лучше не быть… Уже назад не возвращаться… Было бы комфортнее. Туман и тошнота, это даже не тошнота, а захлебывание, как будто в легких полно воды. Долго выходишь из этого состояния. Туман и тошнота… Голова болит от собственного шепота, громче шепота говорить я не мог. Позади уже был кабульский госпиталь.

В Кабуле мне вскрыли череп – там была каша, удалили мелкие кусочки костей, собрали на шурупы без суставов левую руку. Первое чувство: сожаление о том, что ничего не вернется, не увижу друзей, самое обидное – не смогу залезть на турник.

Провалялся по госпиталям без пятнадцати дней два года. Восемнадцать операций, четыре – под общим наркозом. Про меня студенты курсовые писали: что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколона, а я кричу: «Давайте другую!». Нет запаха. Я его не слышу. Вытащили все из тумбочки: колбасу, огурцы, мед, конфеты – ничего не пахнет! Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошел! Пришла весна, деревья зацвели, а я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга, и, видно, какой-то центр был удален, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас, пять лет прошло, не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. Видно, оставшаяся часть мозга взяла потерянную способность на себя. Думаю, так.

В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш бэтээр подорвался на итальянской фугасной мине. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек… Это был я…

Выписали меня, дали пособие – триста рублей. За легкое ранение положено сто пятьдесят, за тяжелое – триста. Дальше живи, как хочешь. Пенсия – гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны – война. Поседел, гипертоником стал.

На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону…

Призвали меня в восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на «гражданке» о ней знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждали мой отец, соседи. Не помню, чтобы у кого-нибудь было другое мнение. Даже женщины не плакали, все это было еще далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Еще никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью, на могильных плитах писали «умер», а не «погиб». Но никто не задавался вопросом: с чего это вдруг у нас стали умирать в армии

девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа? А может, апельсинами объелись? Плакали их близкие, а остальные жили, как жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей.

В витебской «учебке» не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Многие старались «откосить» любой ценой. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать: сначала обманывал – потерял комсомольский билет, билет нашелся, придумал – девушка у него рожает. Я считал его ненормальным. Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое.

Пуля натыкается на человека, ты слышишь – его не забыть, ни с чем не перепутать – характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что ему дал. Она еще дымится… Я не готов был стрелять в человека, я еще из мирной жизни. Из мира… Первый раз действуешь как во сне: бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь, после боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом… За стеной дождя… Как страшный сон видишь. От испуга просыпаешься, а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твое имя. Ты – это уже не ты, а другой человек. Думаю, так… Видно, это так… И этот другой… Этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров. Он не представляет… А он уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности и не выстирывается запах человеческого кала и крови. Воображение? Воображение притихает. Ты видишь: в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа – будто несколько часов назад тут не кричали, а смеялись, умирая. Но все вдруг обыкновенно… Просто… Появляется обостренное и волнующее возбуждение при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит… Вот такое превращение… Очень быстрое. Оно происходит со всеми.

Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остается живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. «Тут вы должны уметь две вещи – быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я», – говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был

приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Мог убить ребенка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, женщины, старики, дети. Идет колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель вылезает из кабины, поднимает капот… Пацан, лет десяти, ему ножом – в спину… Там, где сердце. Солдат лег на двигатель… Из мальчишки решето сделали… Дай в тот миг нам команду – превратили бы кишлак в пыль. Стерли. Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам же по восемнадцать-двадцать лет. К чужой смерти я привык, а собственной боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остается, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыплют, чтобы нужный вес был… Хотелось жить. Никогда так не хотелось жить, как там. Вернемся из боя, смеемся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот…

Попал фарцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный «дух». В восемь чеков оценен. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведет он двести пленных. Друг просит: «Продай одного. Семь чеков дам». – «Что ты, дорогой. Сам за девять купил».

Сто раз будет кто-нибудь рассказывать – сто раз будем смеяться. Хохотали до боли в животах из-за любого пустяка.

Лежит «дух» (так мы называли душманов-моджахедов) со словарем. Снайпер. Увидел три маленькие звездочки – старший лейтенант… Полистал словарь: за три звездочки – пятьдесят тысяч афгани. Щелк! Одна большая звезда – майор – двести тысяч афгани. Щелк! Две маленькие звездочки – прапорщик. Щелк! Ночью главарь расплачивается: за старшего лейтенанта – дать афгани, за майора – дать афгани. За… Что? Прапорщик?! Ты же нашего кормильца убил. Кто сгущенку и консервы, кто одеяла нам продаст? Повесить!

О деньгах говорили много. Больше, чем о смерти. Я ничего не привез. Осколок, который из меня вытащили, – и все. Кто-то брал… Фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры… Это на боевых, когда ходили в кишлаки. Кто-то покупал, менял… Рожок патронов за косметический набор: тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали вареные… Пуля вареная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. Ставили ведра или тазы, бросали туда патроны и кипятили два часа. Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков.

Пропадали штыки от автоматов, зеркала с машин, запчасти… В том числе и награды… В дуканах брали все, даже тот мусор, который вывозился из гарнизонного городка: консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки… Мусор продавался машинами. Доллар и вода всегда найдут себе дорогу. Везде. Солдат мечтал… Было три… Три солдатских мечты: купить платок матери, подружке – косметический набор, а себе плавки, тогда плавок в Союзе не было. Вот такая это была война.

Нас зовут «афганцами». Чужое имя. Как знак. Метка. Мы не такие, как все. Другие. Какие? Я не знаю, кто я: герой или дурак, на которого надо пальцем показывать? А может, преступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра будут громче. А я там кровь оставил… Свою… И чужую… Нам давали ордена, которые мы не носим… Мы еще будем их возвращать… Ордена, полученные честно на нечестной войне… Приглашают выступать в школы. А что рассказывать? О боевых действиях… О первом убитом…. О том, как я до сих пор боюсь темноты, если что-нибудь упадет – вздрагиваю… Как брали пленных, но до полка не доводили… Не всегда… (Молчит.) За полтора года войны я не видел ни одного душмана живого, только мертвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи… Ими хвастались… О кишлаках после артиллерийской обработки, похожих уже не на жилье, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, там нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убивали и тут же строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний… Прячусь от них. Отмахиваюсь… Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда – и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасают, ищу «Охотничьи», которые мы там курили… А курить врачи запрещают… У меня половина головы из железа. И выпить не могу…

Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне мы были объединены: нас одинаково обманули, мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет, а блага в нашей стране раздают по блату и привилегиям. А нам должны за кровь. У нас одна проблема: пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры… Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский «видик» – и все! Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше делать нечего. Молодежь к нам не потянулась. Ей мы непонятны. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы были в роли немцев – как мне один парень сказал. Думаю так… Так… Так они на нас смотрят… А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с

девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и подрывались на минах. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал – тот мне никто.

Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться. На работе, дома… Нас перестанут сажать в президиумы. Всем мы будем в тягость… Зачем ваша книга? Для кого? Нам, кто оттуда вернулся, все равно не понравится. Разве расскажешь все как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, их кровь перемешалась. Кому это нужно? Мы дома всем чужие. Все, что у меня осталось – это мой дом, жена, ребенок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не верю.

И уже не поверю.

Рядовой, гранатометчик

* * *

– Десять лет я молчал… Молчал про все…

В газетах писали: полк совершил учебный марш… Провел учебную стрельбу… Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отверткой пробить, для пули она – мишень. Каждый день в нас стреляли, нас убивали. Убили рядом знакомого парня. Первого… на моих глазах. Мы еще мало знали друг друга… Из миномета стреляли. Умирал он долго, в нем сидело много осколков. Нас узнавал. Но звал незнакомых нам людей…

Перед отправкой в Кабул чуть не подрался с одним, а его друг от меня его оттаскивает.

– Что ты с ним ссоришься, он завтра летит в Афган!

Там у нас никогда так не было, чтобы у каждого свой котелок, своя ложка. Один котелок – все навалимся, человек восемь. Но Афган – не детективная история, не приключение. Лежит убитый крестьянин – тщедушное тело и большие руки… Во

время обстрела просишь (кого просишь, не знаю, Бога просишь): пусть земля расступится и спрячет меня. Пусть камень расступится… Собаки скулят. Жалобно скулят минно-розыскные собаки. Их тоже убивали, ранили. Убитые овчарки и люди, забинтованные собаки и люди. Люди без ног, собаки без лап. Не разобрать, где на снегу собачья кровь, а где человеческая. Сбросят в одну кучу трофейное оружие: китайское, американское, пакистанское, советское, английское – оно, я удивлялся, красивое, но это все для того, чтобы тебя убить. Страх! Мне не стыдно за этот страх. Страх человечнее смелости. Это я понял. Боишься и жалеешь, хотя бы самого себя… Оглядываешься вокруг, начинаешь замечать жизнь… Все останется жить, а ты исчезнешь. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и маленький, за тысячу километров от дома. Уже в космос люди летают, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем… В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали…

Вернулся в восемьдесят первом году… Все было на «ура». Выполнили интернациональный долг! Священный! Герои! Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Автобус был только вечером. Ждать не мог. Добирался на попутках: до Можайска на электричке, до Гагарина – на рейсовом автобусе, потом до Смоленска уже на перекладных. И от Смоленска до Витебска – на грузовой машине. Всего шестьсот километров. Никто деньги не брал, когда узнавали, что из Афгана. Это я запомнил. Последние два километра – пешком. Бегом. Так и добежал до дома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/svetlana-aleksievich/cinkovye-mal-chiki

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити